

Марко Вовчок

Игрушечка



Марко Вовчок

Игрушечка

«Public Domain»

1859

Вовчок М.

Игрушечка / М. Вовчок — «Public Domain», 1859

«Я родом-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году. Вот только помню я длинную улицу да темный ряд избушек дымных; в конце улицы на выгоне стояли две березы тонкие – высокие. Да еще помню, у нас под самым окном густые такие конопли росли, а меж коноплями тропиночка чернела, а где-то близко словно ручеек журчал, а вдали на горе лес зеленел. Да еще я помню свою матушку родную. Все она, бывало, в заботе, да все сиживала пригорюнившись... Отца я не знала: он помер, мне еще и году не было. Жили мы в своей избушке... После, на чужой стороне, часто мне, бывало, те дни прошлые пригрезятся, что кругом поле без краю, солнце горит и жжет, сверкают серпы, валится рожь колосистая; я сижу под копной, около меня глиняный кувшинчик с водой стоит; подойдет матушка с серпом в руке, загорелая она, изморенная, напьется воды из кувшинчика, на меня глянет и мне усмехнется... А зимою! в печи дрова трещат, в избушке дымно; хлопочет заботная моя матушка, а в окно глянь – снежная пелена белая из глаз уходит; во всех избах сенные двери настезь, и валит из дверей дым серый...»

Вовчок Марко

Игрушечка

(Посвящается Марье Каспаровне Рейхель)

Я родом-то издалёка, свой край чуть помню: увезли меня оттуда по шестому году.

Вот только помню я длинную улицу да темный ряд избушек дымных; в конце улицы на выгоне стояли две березы тонкие – высокие. Да еще помню, у нас под самым окном густые такие конопля росли, а меж коноплями тропиночка чернела, а где-то близко словно ручеек журчал, а вдали на горе лес зеленел. Да еще я помню свою матушку родную. Все она, бывало, в заботе, да все сиживала пригорюнившись... Отца я не знала: он помер, мне еще и году не было. Жили мы в своей избушке... После, на чужой стороне, часто мне, бывало, те дни прошлые пригрезятся, что кругом поле без края, солнце горит и жжет, сверкают серпы, валится рожь колосистая; я сижу под копной, около меня глиняный кувшинчик с водой стоит; подойдет матушка с серпом в руке, загорелая она, изморенная, напьется воды из кувшинчика, на меня глянет и мне усмехнется... А зимою! в печи дрова трещат, в избушке дымно; хлопочет заботная моя матушка, а в окно глянь – снежная пелена белая из глаз уходит; во всех избах сенные двери настежь, и валит из дверей дым серый...

Деревья стоят, инеем опушились; тихо на улице; только задорные воробьи чирикают, скачут... И вдруг я в хоромы богатых очутилась, всюду шелки да бархаты, стены расписные, гвозди золоченые. Стою я середь горницы замираючи, а передо мной сидит на кресле барыня молодая, пригожая, разряженная. Сидела она и, глядя на меня, усмехалась. Маленькая барышня, румянькая, кудрявая, вертелась по комнате да, смеючись, все меня беленьким пальчиком затрагивала – вот словно как деревенские ребяташки галчат дразнят... Как схватили меня с улицы и посередь горницы перед барыней поставили, так и стою я да озираюсь: сердце у меня со страху закатилось... Понемножку я в себя пришла и плакать стала, стала к матушке проситься. Барыня в серебряный колокольчик зазвонила, и человек усатый вбежал: «Отнеси ее домой!» – показывает ему барыня на меня, а барышня как закричит, как затопает ножками!.. Барыня к ней целовать, унимать – барышня еще пуще...

Выскочил из другой горницы барин щеголеватый... «Что? что?» Махнули на усатого человека: «Иди!», а меня не пустили, кусочек мне сахару дали и велели: «Не плачь».

Потом я помню безлюдное да безбрежное поле да по полю дорогу змеей черною да помню свою тоску беспомощную... После уже, как я в лета вошла, то от людей узнала, что и как было.

Увидала меня на улице барышня гуляючи; я барышне приглянулась. «Дай мне эту девочку, подари!» – говорит она барыне.

Барыня ее уговаривать стала: «На что тебе такая замарашка, глупенькая!» Да барышня ничего слушать, знать не хочет: «Дай девочку!» Сама в слезы ударилась.

Вот и приказали меня в хоромы привести. Привели, да уж и не выпустили. А господу в другую отчину выезжали, и на другой день у них был отъезд положен. «Хочу девочку с собой взять!» – кричит барышня. Попробовали ее уговаривать, только слова даром потратили. Барышня опять расплакалась, опять раскричалась; погладили ее господу по головке и велели меня в дорогу с собой снарядить. Приходила к ним моя матушка с горькими слезами: «Отдайте дочку!» – Я б тебе отдала, да барышня не пускает, очень ей твоя дочка понравилась, – ответила моей матушке барыня. – Ты не плачь, пожалуйста: она ведь скоро барышне прискучит, детям забава не надолго – тогда сейчас твою дочку мы перешлем к тебе.

Вышла барыня из девичьей и говорит своей ключнице любимой:

– Ах, как жалко мне эту женщину! просто я на нее смотреть не могу. Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, дайте ей вот денег... ну, отдайте что-нибудь из моих вещей похуже... Только поскорее, чтоб она шла себе, чтоб тут не плакала...

Вышла Арина Ивановна к моей матушке и стала мою матушку из хором гнать. Матушка пошла. На другой день, как мы уж выезжали, приходила она хоть проститься со мной – не допустили.

– Лучше ты не показывайся: раздразишь девочку, и барышню еще в слезы введешь, и господ, чего доброго, разгневишь – твоей же дочке жутче придется.

Матушка и не стала добиваться. Только как мы из деревни выезжали, она спряталась на выгоне в конопли да издали на меня взглянула, поблагословила меня... А мне-то, глупой девочке, каково приходилось! От страха, от слез задыхалась, а из всех дверей на меня грозятся, сверкает на меня глазами ключница; барыня проплывет через горницу, усмехается, покажется в дверях барин щеголеватый, песенку себе насвистывает; прыгает барышня, веселенькая, – и все на меня глядят, и всех-то я боюсь...

Путь-дорога моя ясно мне помнится. Я ехала в бричке с ключницей, с Ариной Ивановной, следом за господскою каретой. Арина Ивановна была и гневна и придиричива; за мои слезы детские била меня; не позволяла мне из брички выглянуть и все мне спать приказывала. Я, бывало, как встречу ее глаз черный, злобный да голос шипящий пошлышу – меня уж дрожь пронимает. Тоска безутешная, страх беспрестанный да жаркое лето знойное совсем меня истомили – я захворала. Тогда меня перестали на всяком постое к барышне на забаву таскать – боялись, что болезнью ее заражу, – велели меня в бричке уложить и с барского стола мне подачки присылали... Бывало, едем-едем, и укачает меня, дремота нападет тяжелая да беспокойная, и вдруг что-то зашумит, пахнет в лицо прохладой; открою глаза – а то мы дубовый лесок проезжаем, и веет свежий ветерок, и зеленые листья шелестят полегоньку... Хочу приподняться. «Чего тебе? куда?» – прикрикнет Арина Ивановна... Я опять глаза закрою, и опять едем, едем под солнцем жарким, и какая-то птица звонко, звонко кричит... Иногда, бывало, барышня вырвется из кареты, вскочит в бричку и давай тормошить меня: «Вставай, вставай ты поскорей, мне без тебя скучно!» Случалось, что и сама барыня подойдет: «А что, Арина Ивановна, что Игрушечка?» Меня, видите, Грушей звали. Говорят, как спрашивала барыня у моей матушки: «Как твою дочь зовут?» – «Грушечка!» – ответила ей моя матушка. «Грушечка!

Грушечка! – подхватила барышня. – Пусть будет она лучше Игрушечка!» Господа посмеялись, им полюбилась кличка такая. С той поры и стала я Игрушечкой...

Приехали мы в отчину, в село Рогожино, и там господа на житье поселились.

Сначала на новом месте все мне смутно представляется. Я лежала долго больна в избе душной, и поили меня какими-то горькими травами. Много людей в той избе толпилось; они себе и ссорились и мирились, и охали и веселы бывали. Были они все мне чужие. Я только на них смотрю, бывало, а они на меня-то разве мимоходом глянут – тоже им девочка чужая. Да и дела много у всякого. Известно, что дворня всегда в суете да в беготне. Хоть дела-то не велики, да лучше великих уходят.

Изба эта была высокая, просторная – приходят, бывало, туда и самовары чистить и пряжу мотать, и белье стирать. Кто, бывало, в людской не поместится, сюда ночевать идет. Называли все эту избу избой запасною.

Вот только раз я лежу – приотворилась дверь, и кудрявая голова молодая выглянула.

– Что, все ушли? – проговорил высокий молодец, входячи в избу.

– Все, – ответила я ему.

– А ты что, девочка, лежишь? – ласково да весело так меня спросил.

– Больна, – говорю.

– Ах, бедненькая ты, завезенная крошечка! выздоравливай-ка скорее!

И пошел себе, и веселый его голос смолк... Арина Ивановна ходила ко мне всякий день и обед мне из хором приносила. Придет всегда сердитая, грозная: такой страх, бывало, на меня напустит. Как только стала я поправляться, тотчас меня опять к барышне привели и уж с этого дня безотлучно при ней держали.

Рядом с детской была Арины Ивановны горница, а подле горницы маленький чуланчик темный, узенький, словно ящик, там я спала. Как вспомню, какие там на меня страхи находили! То представится мне, что кто-то к моему уху наклоняется – шепчет, то в потемках мне чьи-то глаза сверкнут, то чудится, что-то щелкает...

Завернусь с головой в старенькое жалованное одеяльце, лежу, чуть дышу... И вспомнится мне вдруг, как меня матушка на руки брала, как меня голубила – больно сердчишко забьется, зальюсь слезами горячими... И долго и горько плачу, пока уж из сил выбьюсь, засну. И приснится мне матушка, я к ней прижимаюсь крепко, я хочу ей все рассказать, да пожаловаться, да приласкаться, а тут меня толкают, будят; сон прогнали, – и уж как я, бывало, эти сны отлежавшие оплакиваю, словно живых людей!

Арина Ивановна с первого взгляда меня невзлюбила, а еще пуще гнала за то, что барышня меня жалела, что, бывало, меня и шагу от себя не отпустит, а на Арину Ивановну: «Идите, идите, Арина Ивановна, мне вас не надобно; я буду с Игрушечкой».

За то Арина Ивановна, где ни попадет, там меня и пристукнет. «Вот, твердит, вот не было печали! Ах, бесенок ты этакой!» Сначала уж очень она обижала меня, так что и барышня жаловалась барыне и барыня сама Арину Ивановну усовещивала.

– Была у Зиночки козочка дикая, – говорила, – был попугай у Зиночки, как вы за ними ухаживали, помните, Арина Ивановна? Что ж вам бедная эта Игрушечка сделала? За что вы ее так гоните?

– Не гоню я ее, сударыня, а только мне вот обидно, что хамку со мной равняют. Я хоть бедная вдова, да я родовая дворянка.

– Ах, милая Арина Ивановна! кто ж вас с нею равняет? Вы понимаете, это Зиночкина забава. Вы для Зиночки это сделайте, не обижайте Игрушечку.

– Да бог с нею! – ответила Арина Ивановна. – Служила я всегда вам, кажется, и верой и правдой, да вот, сударыня, чего дослужилась! Мне заказ девчонку поучить!

Для вас же, сударыня, я ее учила; не угодно вам – как изволите!

Мало мне полегчало после этого разговору. Реже, исподтишка, да большее стала меня Арина Ивановна донимать. И за все стала ко мне придирааться. Пройду ли мимо:

«Иди-ка сюда, любимочка, – кивает на меня гневно, – иди-ка! Ты это на радостях, что у меня голова болит, бурею-то носишься?» Говорю ей: барышня меня послала, за делом иду. «Вот тебе барышня! вот тебе!» Чашка ли, тарелка ли разобьется на другом конце дома – я отвечаю. «Твоих рук, говорит, не минуло!» Хоть перед нею плачь, хоть божись, она не послушает; чаще молчишь, бывало... Да она и сама, верно, знала, что напраслину взводит. Раз она меня пилатила, пилатила, да уж и сама мне говорит: «Ах ты, несчастная! и на что ты на белый свет народилась?» Одним вечером сидели мы с барышней в детской, играли на ковре, а Арина Ивановна в своей комнате шила, и слышу, входит к ней кто-то; Сашин голос узнаю (девушка была горничная Саша). «Арина Ивановна! говорит. Опять тростинский мужик пришел, просит, чтоб к Игрушечке его допустили».

– Как ты смеешь мне глупые его слова мужицкие переносить? Сказала я уж раз ему, чтоб убирался! Он у меня дождется радости, дождется! – грозит.

– Да уж очень он просит, Арина Ивановна, – говорит Саша: – Игрушечкиной матери обещался, просила-то как она, сказывает, слезами обливалась: «Сам ты посмотри на нее да хоть расскажи мне, какая она стала!» Я сижу, так и обмираю.

– Вот еще выдумки глупые! – ответила Арина Ивановна еще сердитей. – Чего ты-то лезешь? Игрушечка с барышней играет, барышню мне, что ли, для вас раздражить?

– На часочек, Арина Ивановна: он только отдаст Игрушечке гостинец, что мать прислала, да глянет на нее.

– Что еще за гостинцы там? Принеси-ка сюда, я сама ей отдам.

Горько я тогда зарыдала. Барышня встревожилась, бросилась ко мне – она, играючи, не прислушивалась. «Что, Игрушечка, что такое?» добивается. Арина Ивановна вскочила в детскую.

– Что такое?

– Игрушечка, скажи! – пристаёт барышня.

– Прислала мне матушка гостинец, – жалуясь: – не отдают.

– Да что вы ее, глупую, слушаете? – закипела Арина Ивановна: – Вот я ей задам матушкиного гостинца, чтобы барышню не тревожила! Сейчас у меня перестань, негодница! нишкни! – А сама ко мне...

– Не смейте ее трогать! – крикнула барышня. – Какой гостинец ей прислали? где гостинец? сейчас ей отдайте! сейчас сюда принесите!

А из двери бородатое лицо чье-то выглянуло. Арина Ивановна коршуном кинулась:

– Как смеешь! Куда? – И двери захлопывает.

– Да как же, матушка, – ответил ей кто-то из-за дверей протяжным голосом: – дал слово, держись... пускай сами господа рассудят...

Барышня оттолкнула Арину Ивановну и настезь дверь распахнула. Вижу, стоит мужичок в сером армяке с шапкой в руках; лицо худое такое, борода длинная, смирный да добрый был с виду.

– У тебя гостинец Игрушечкин? – спрашивает барышня. – Иди сюда да отдай ей.

Мужичок барышне низко поклонился вошедши, поглядел на всех и на меня потом показал:

– Видно, Груша? Поди-ка, Груша, сюда, – говорит мне: – поди, я по головке поглажу.

И погладил меня по головке. Арина Ивановна только глядела да думала, что б ей тут сделать, барышни боялась да губы кусала; потом невмочь ей стало – вышла.

– Мать кланяется, – говорит мне мужичок, – помнишь мать-то еще? Ну, не плачь.

И гостинчик мать прислала.

Вынул из-за пазухи мешочек и дал мне, а я тот мешочек крепко ухватила...

– Что ж от тебя матери-то сказать, а? – спрашивает мужичок, а я только плачу.

Арина Ивановна в дверях стала.

– Что ж, – говорит, – скоро? ты приказчику нужен – иди.

– Ну, прощай, Груша! – сказал мужичок. – Не плачь, мать еще гостинчика пришлет.

– Я к ней хочу... к матушке хочу! – рыдаючи я ему вымолвила.

– Ну, хорошо, хорошо, и к ней пустят, только вот не плачь!

– Царица какая проявилась! – загремела Арина Ивановна, – еще поблажку ей давать! Не видать тебе матушки своей, не видать! – вскинулась на меня. – А ты иди-ка, иди! – гонит мужика.

Погладил он еще по головке меня и ушел. Арина Ивановна вслед за ним выбежала, и большой шум поднялся в девичьей: то слышно крик – Арина Ивановна кричит, то протяжно мужичок говорит... Барышня сидит, свою губку прикусивши, и на меня поглядывает, а я свой мешочек развязываю. В том мешочке были две замашные рубашечки, да глиняная уточка, да пряничек медовый...

– Покажи, покажи, Игрушечка, что тебе мать прислала, – говорит барышня, подсаживаясь ко мне, и так все оглядывает, осматривает...

Вошла Арина Ивановна и насмехаться стала:

– Ну, уж рубашечки! Из паутиночки ткани! да при господах и носить-то нельзя таких: дотронется как барышня, то и ручку себе обдерет. Дайте-ка я их зашвырну куда подальше!

Уж где у меня и сила взялася, где и храбрость! Не даю, борюсь.

– Арина Ивановна; идите прочь! – крикнула барышня, – идите прочь! – И прогнала ее опять из детской, сама опять подле меня села. Долго я над своим гостинцем плакала, а она все на меня поглядывала, призадумавшись. Переждавши, пришла опять Арина Ивановна.

– Что вы, Зинаида Петровна, так заскучали? – спрашивает барышню.

Барышня вздохнула и на меня пальчиком показала:

– Она все плачет по своей маме; она к своей маме хочет!

– Да пусть себе хочет! Чего ж вам-то беспокоиться. Не хотите – не пустим, мой ангел, вы не беспокойтесь!

– А плачет?

– Мало чего нет! да вы ведь ее взяли себе в забаву, вы ее госпожа, мое сокровище, что с ней захотите, то и сделаете: плакать прикажете – плачь! прикажете веселиться – веселись!

– А как она не станет?

– Не станет! Да мы ее так проучим, что она у нас шелковая будет!

– Мне жалко Игрушечку!

– Вот то-то и есть, что вы всё жалеете! И проку из нее не будет... Вы не жалейте!

– Жалко Игрушечку! – твердит барышня. – Жалко Игрушечку!

– Говорю, перестаньте жалеть – перестанет она и плакать, и всю ее блажь как рукой снимет...

Все это говорится, а я слушаю... слушаю, а слез не могу сдержать – льются...

Вот барышня личико насупила, бровки нахмурила, надула губки и подступает ко мне грозно:

– Игрушечка! чего ты скучная? сейчас веселись! Ну, веселись! Я тебе приказываю, я твоя госпожа – веселись!

– Ах, ах, голубчик вы мой! – едва промолвит от смеху Арина Ивановна. А я, глупый ребенок, слезами заливаюсь горькими.

– Веселись, Игрушечка, – приказывает барышня: – веселись и маму свою сейчас забудь. Слышишь, что я тебе приказываю? Ну, забыла свою маму?

– Нет, – говорю, – не забыла!

Арина Ивановна ко мне:

– Да ты смеешь ли так барышне отвечать, а? что? Ах ты, грубиянка! Велят тебе смеяться – сейчас у меня смейся!

Смеюсь я перед ней, слезы свои горючие глотаючи...

– Ну вот, видите, мой ангел, она и смеется, – утешает барышню Арина Ивановна.

А барышня смотрит на меня такими-то пытливыми глазенками...

– Игрушечка! – говорит. – Как же ты и плачешь и смеешься, а я вот не стала б.

– И, голубчик, равняетесь с кем! – ей на это Арина Ивановна. – Ей что прикажут, то она и может.

– Вот, Игрушечка, ты какая, – проговорила барышня, – вот какая!..

С той поры часто она, бывало, меня страшит:

– Игрушечка, не скучай! Ты знаешь, я все с тобой могу сделать; я тебя ведь баловать не буду – ну вот велю сейчас волка позвать и прикажу, чтобы тебя волк съел. Волк ам-ам! и съест, а я жалеть о тебе не буду и отнимать у волка не буду.

Шло время да шло; и год прошел. Раз чем свет будит меня Арина Ивановна. Я вскочила.

– Оденься поскорей, в церковь со мною поедешь, – говорит, – да по матери по своей панихиду отслужишь.

А я никак в толк не возьму, голова у меня кругом пошла. Умерла? когда?..

– Чего смотришь? – толкает Арина Ивановна. – Сбирайся, говорят, скорее, пока еще барышня не проснулась.

Вертела она меня, и совала, и теребила, и все над ухом твердила: «Не помянешь покойницы матери, бог от тебя отступится».

Посадила меня с собою в бричку и повезла. Билось, билось мое сердце и замирало, будто я ждала кого-то... да все тихо по полям было, белели они под росой, солнышко еще не взошло, из-за лесу холодноватый ветерок тянул.

Подъехали мы к церкви. Вышли – церковь пуста; один седой пономарь прошел, крестясь да зеваючи. Арина Ивановна прикладываться пошла к образам и мне махнула: «Иди!» И я за нею пошла. Стали собираться и священник и дьячки. Стали по матушке моей панихиду служить. Я была словно в каком-то тумане. Дым от ладану клубился, в дыму свечи мерцали; два старичка-дьячки пели разбитыми голосами, и тихо их пенье по церкви дребезжало. Арина Ивановна стояла впереди, все на меня оглядывалась и все мне грозилась; чужие люди в церковь собирались на обедню, на меня смотрели, вздыхали и крестились... «Умерла матушка!» думаю, а слез у меня нет...

Отошла и обедня. Народ повалил из церкви и рассыпался по дорожкам да по тропинкам. Сколько голосов шумливо смешалось! Арина Ивановна около церкви просталась с молодой дьячихой и на меня ей показывала:

– Вот, – говорила, – приказала ей по матери панихиду отслужить. Без меня так бы покойницу мать и не помянула.

А дьячиха мне нараспев:

– Что ж, тебе родной матери-то не жалко, что ли? Ах, грех-то какой!

– А я ей еще и не говорила, долго все думала: вот разголосится; она и слезки не выронила.

Силой почти и в церковь-то привезла!

И дьячиха опять нараспев:

– Ах, грех какой! бог вас за это не оставит, Арина Ивановна, вас бог не оставит!

Поехали мы домой... Солнышко уже высоко взошло. Опаматовалась я и тогда-то уж досыта наплакалась. Боже мой! господи! какая тоска мою душу сжала! какая печаль!

А бричечка по дороге турчит, катится. Арина Ивановна меня бранит, да урекает, да грозит. «Отчего в церкви не плакала, полоумная! Теперь только хватилась! Вот я тебе дам слез!» Барышня увидала меня, сейчас заметила.

– О чем Игрушечка плакала?

– У ней мать умерла, – ответила Арина Ивановна.

– Отчего умерла?

– Оттого, – говорит Арина Ивановна, – что Игрушечка не слушается, что девчонка злая, упорная, так вот бог у нее маму взял.

– А я-то не слушаюсь? – промолвила барышня.

– Да вы барышня, как же вам с нею равняться, мой голубчик!

– Мне бог простит? – спрашивает барышня.

– Помолитесь хорошенько, то и простит, мое сокровище; бог милостивый, бог всех любит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.